

*Зиновий Паперный*

## **Мемуары**

### **1. Когда человек пишет воспоминания?**

Тогда, когда он уже больше не способен ни на что, как только писать воспоминания. Он почти ничего не помнит, собственное имя-отчество называет не иначе, как заглянув в свой паспорт, а берется за перо и пишет, что, мол, как сейчас помню, в девяностые годы в театре Корша...

Вот, например, Авдотья Панаева отложила свои воспоминания на самый конец жизни и, разумеется, все напутала. Она, например, пишет: «Иван Иванович крепко меня поцеловал и уехал». Фраза эта в академическом издании сопровождается такими комментариями:

«Иван Иванович — по всей вероятности, муж А. Панаевой. А может, и не муж. Не исключена возможность, что муж, но не А. Панаевой.

“Крепко... поцеловал” — публикуется по рукописи. По смелой догадке некоторых текстологов, следует читать не “крепко”, а во втором варианте “кратко” и в окончательном варианте — не “кратко”, а “кратко меня поцеловал”.

Далее. “И уехал”. Явная ошибка памяти Авдотьи. В год, о котором идет речь, ее муж не уехал, а, наоборот, приехал. Смотри сборник воспоминаний “Жизнь и деятельность А. Я. Панаевой”. Издание Лит. музея. “Звенья”. Звено 25-е. Напрашивается, таким образом, следующее прочтение: “Иван Иванович кратко меня поцеловал и приехал”».

Нет, уж лучше не буду откладывать свои воспоминания.

Недавно один пенсионер опубликовал свои мемуары о Маяковском. Он свидетельствует, что сам Маяковский в ответ на критический отзыв заявил:

— Ничего! Меня ободряет то, что народ назвал меня лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

Мои воспоминания написаны по принципу: никогда не откладывай на завтра то, что еще помнишь сегодня.

## 2. А между тем...

После окончания аспирантуры я поступил в редакцию «Литературной газеты». Из мира предельно академического я попал в мир предельно неакадемический. Представьте себе, что вас освобождают от должности настоятеля кафедрального собора и перебрасывают в какое-нибудь самое развеселенькое заведение (в хорошем смысле слова). До поступления в газету я разговаривал примерно так:

— Добрый день. Что я делаю? Сейчас я завершаю главу — беру стилевую прозаизацию в плане эволюции. Есть кое-какие новации. Кое-что удалось наблюдать. Да, наблюдаю и при этом соблюдаю. (Замечу в скобках: разве не в этом сущность научной работы: наблюдать и соблюдать?) Еще предстоит идентификация композиции и пагинация глав об эволюции. Кстати, как вы смотрите с точки зрения текстологической на употребление ромбовидных скобок в случае дописи незаконченных слов в разделе «Varia»? Я много думал об этом, и мне кажется, что все-таки ромбовидные предпочтительнее эллипсовидных.

В редакции газеты меня сразу же со всех сторон обдала совсем иная словесная струя — как в циркулярном душе:

— Здоров, старик! Как твой кусок на 40 строк? Сделал? Рубани 10 строк. Сколько осталось? 30? Серпани еще 50! Что? Всего 30? Ну что ж, остальные доберешь из соседней статьи. Ну, будь! Кстати, хвост Ивановой сдал? Да! Слушаю! Где у вас Бабина? Что там с ней делают? В типографии? До сих пор тискают? Сколько можно!

Да, редакция... Сидишь, бывало, в буфете, рассуждаешь о том о сем, и вдруг подойдет к тебе выпускающий и скажет так интимно на ушко: «Старик, ты вот здесь трепешься, а между прочим сто лет тому назад помер Гоголь». Вскакиваешь как ужаленный, припоминаешь факты истории литературы: действительно, сто лет назад ровно умер Гоголь. И что же? А ничего. Бежишь, звонишь, умоляешь, угрожаешь, диктуешь, негодуешь, и на другой день — все в порядке — полоса: «К столетию со дня рождения Н. В. Гоголя».

Помню первое ответственное задание, полученное мною в газете. Меня и сотрудника раздела внутренней жизни А. М. вызвали к главному редактору, который сказал:

— Друзья! К утру должна быть передовая. Тема: «Литература и жизнь». Единственное требование — она должна быть сказочно

красивой, с оттенком некоторой неги. Мобилизуйте ваши психофизические организмы. Работайте так, чтобы было слышно только одно — скрип интеллектов.

А. М., старый газетный волк, даже не волк, а, я бы сказал, зубробизон, принял все это как нечто обычное, я же был тихо ошеломлен грандиозностью поставленной задачи: к утру написать передовую... Литература и жизнь! Сколько людей ломало себе голову на том и на другом.

Я сказал:

— Мы будем работать всю ночь. Едем ко мне. Но сначала пойдем в библиотеку за материалами.

А. М. встретил мое заявление сочувственным смехом:

— Вы слышали? Он собирается работать со мной всю ночь! Вам что, ночью больше делать нечего? Не валяйте дурака. Я вам не нужен, и вы мне не нужны. Я знаю жизнь, но не знаю литературы. Значит, я пишу первую колонку о жизни. Вы знаете литературу, но не знаете жизни. Значит, вы пишете вторую колонку — о литературе. Встречаемся в редакции в 2 ч. 00. Перестукиваем и отдаем шефу. Приветик!

— Но я даже не знаю, с чего начать мою половину!

— А! Он не знает! Начните так: «А между тем...» И дальше валяйте о литературе.

Убитый, я пришел домой. Не поужинав (есть я не мог), не ложась спать (спать я не мог), сел за стол, обмакнул перо и начал писать:

«А между тем наша литература все еще...» Дальше уже пошло.

На следующий день мы соединили наши половинки, и я ахнул: они совпали, одна пришлась к другой тютелька в тютельку. И вот уже на столе главного редактора лежит сказочно красивая передовая с оттенком некоторой неги.

Так началась моя работа в «Литературной газете».

### 3. Как меня приласкали

Вскоре я начал сотрудничать в журналах, в частности в «Знамени». За что я люблю «Знамя»? За умение приласкать автора, сказать в его адрес что-то очень хорошее, и сказать прямо, в глаза, без утайки. Добрых отношений с автором знаменцы добиваются вовсе не тем, что печатают его статью. Но это и не должно вас расстраивать. В самом деле, можно ли обижаться на редакцию, когда вам говорят:

— Статья прелестная. Правда, она еще полежит, но вы наш самый любимый автор. Пишите нам вторую статью, а первая никуда не денется.

В моих отношениях со «Знаменем» были свои взлеты и свои падения. Были статьи, которые выходили в свет, видели свет, и были статьи, которые так и не видели света. Как сказал поэт, «не взвидел я света». Помню, предложил я «Знамени» одну статью. Как обрадовались они, услышав, что их любимый автор пишет для них. Я и не знал тогда, как велико число их самых любимых авторов.

И вот приношу статью. Ее отдают на рецензию. Получаю положительные отзывы. Мне говорят:

— У вас такая хорошая статья, что она не устареет и через несколько номеров. Это не времянка. Это статья надолго. Может быть, даже не на один год. Поздравляем!

Первые месяцы я ходил именинником. Затем праздник кончился. Начались суровые будни. Шли годы. А статья не шла. Я возмужал. Многого понял. Я позвонил в «Знамя» и сказал, что хотя статья моя и не стареет, но старею я сам и статью забираю.

Никогда не забуду того дня, когда я пришел в «Знамя» за статьей. Меня встретили два сотрудника. Они сказали:

— Напрасно вы ее забираете. В конце концов она бы появилась.

Но я забрал ее. Тогда один сотрудник вздохнул и сказал другому, показывая на меня:

— Нет, ты только посмотри, какой он красивый.

Но я уже не верил ни во что и мрачно спросил:

— Это вы почему так сказали?

Они переглянулись, улыбнулись и честно признались:

— Людмила Ивановна Скорино просила статью вернуть, но приласкать автора.

Когда мне грустно, когда сердце томит одиночество, я вспоминаю эти трогательные, по-мужски неуклюжие ласки, и мне становится теплее на душе...

1961

#### 4. Назым Хикмет в «Литературной газете»

В 1951 году Назым Хикмет, вырвавшись из турецкой тюрьмы, приехал в нашу страну. Спустя всего лишь несколько дней — это было 4 июля — он пришел в редакцию «Литературной газеты». Сыграло роль знакомство с главным редактором Константином Михайловичем Симоновым — знакомство, перешедшее в дружбу.

Зазвенел продолжительный звонок, такой, каким обычно созывали на летучки. Мы, сотрудники редакции, потянулись в кабинет главного редактора. И тут мы увидели Назыма Хикмета, сидевшего за столом с Симоновым. У него было светлое, чуть бледное лицо, контрастировавшее со смуглым обликом Константина Михайловича. Это дало повод редакционной машинистке пошутить: «Хикмет больше похож на русского, а Симонов — на турка».

Волосы у Назыма каштанового цвета, на висках — не очень заметная первая седина. Когда все расселись, оживленный гул голосов затих, Константин Михайлович встал и обратился к гостю со словами приветствия.

Назым тоже сказал несколько слов. У него был негромкий, мягкий, на редкость симпатичный голос. Он тогда еще не очень свободно объяснялся по-русски:

— Я очень рада, что здесь собралась вся ваша коллектива и я имею возможность нажимать вам на руки...

Константин Михайлович и сотрудник редакции Никита Разговоров прочитали свои переводы стихов Хикмета. Потом посыпались вопросы. Хикмет отвечал мило, кратко и весело. Прошло совсем немного времени, а все уже были в него влюблены.

Я в ту пору занимался Маяковским и спросил Хикмета об отношении к его поэзии. Назым рассказал о том, как он встречался с Маяковским в 1921—1924 годах, когда жил в Советском Союзе и учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

Вот каким он впервые увидел Маяковского:

— Он был громадный, как московские высотные дома. Был очень хорошо одет. А голос — как колокол в Кремле, если бы он не упал на землю и в него можно было бы ударить.

Тогда, — продолжал он, — шла борьба разных литературных группировок. Я на какое-то время сблизился с левовцами. И на одном вечере выступал вместе с ними. Мне надо было прочитать свои стихи на родном языке. Я очень волновался, боялся, что собою. И вдруг Маяковский ко мне подошел — он заметил, что я растерялся, — и говорит: «А ты-то, турок, чего волнуешься? Ведь все равно никто ничего не поймет». И сразу мне стало легко на душе.

Когда встреча подошла к концу, Хикмету была вручена большая папка — в размер газетной полосы. Там были собраны все выступления «Литературной газеты» в защиту Хикмета, за его освобождение.

В заключение Симонов сказал:

— Мы не будем устраивать никакого «парада». Мы просто покажем тебе, Назым, как мы работаем. Давайте сейчас разойдемся по нашим рабочим местам, а я обещаю, что мы с Хикметом зайдём в каждую комнату.

Сотрудники резво разбежались по кабинетам. Наступил момент, кажется, единственный в истории газеты, когда работали все.

Симонов шел с Хикметом по коридору и, как обещал, переходил из комнаты в комнату. В машинном бюро дорогого гостя с нетерпением ждали три пожилых сотрудницы. Особенно волновалась Любовь Яковлевна, женщина на редкость эмоциональная. Она уже заранее растроганно всхлипывала. Наконец дверь открывается, входит Симонов и говорит:

— Вот наше машинное бюро. Тут надо бы пробковую прокладку сделать — для звукопроницаемости...

Повернулся к Хикмету, а его нет. Оказывается, в тот момент, когда Симонов вошел в машбюро, международники взяли гостя под руки и повели по пожарной лестнице на свой этаж вверх. Симонов комически развел руками, давать объяснения было некому, и ему ничего больше не оставалось, как последовать за Хикметом.

Напрасно Любовь Яковлевна кричала международникам: «Немедленно отдайте нам Назыма Хикмета!»

Бедная Любовь Яковлевна умоляет меня сквозь слезы:

— Вы должны сказать Симонову, чтобы он все-таки пришел к нам с Хикметом!

— Кто я такой, чтобы ему указывать?

— Ну тогда обещайте: если вы его увидите — скажете.

— Обещаю.

Продиктовав машинистке слова Хикмета о Маяковском, я пошел в библиотеку проверить цитату. Здесь я опять увидел Хикмета. Он стоял с подаренной папкой в руках, у него было усталое лицо.

Библиотекарша, женщина активная, энергичная, рассказывала ему с какой-то изощренной обстоятельностью, как они хранят книжные фонды...

— Назовите имя какого-нибудь деятеля, — наступала она на Хикмета.

— Я даже не знаю, товарищ.

— Ну хорошо, я сама назову: Черчилль! — Ее голос громко зазвенел: — Дайте мне персоналию на «Ч».

Ей дали соответствующий ящик. Она стала быстро перебирать карточки.

— Вот... Чайковский... Чаковский... Чуковский... Так... Черчилля, правда, нет, но зато есть Чивилихин.

— Очень интересно, товарищ.

Хикмет хочет уйти, но неутомимая библиотекарша говорит:

— А теперь я вам покажу наш предметно-тематический каталог. Назовите какую-нибудь отрасль промышленности!

— Я даже не знаю, товарищ.

— Ну ладно, пусть будет «Кораблестроение». Хорошо? Дайте мне предметный на «К»!

Ей дают. Снова роется в ящике.

— Вот... Ка... Ко... Ку... «Кораблестроения», правда, нет, но зато есть «Кустарная промышленность».

И с радостным видом:

— А теперь я вам покажу, как мы храним периодику!

— Очень интересно, товарищ.

Назым слушал все с безропотностью воспитаннейшего гостя.

Неподалеку стоял Симонов. Я подошел к нему.

— Константин Михайлович, там машинное бюро просто рвет и мечет.

— А что такое?

— А вы вошли с Хикметом, но его... увели.

— А-а... Понимаю.

Выражение лица у него примерно такое: мне бы ваши заботы. Он говорит:

— Я попрошу таким образом. Я зайду, и Хикмет зайдет. Так что передайте, пожалуйста, машинному бюро, чтобы оно, во-первых, не рвало и, во-вторых, не метало.

И действительно, спустя какое-то время Симонов снова входит к машинисткам вместе с Назымом Хикметом, которого на этот раз уже никто не умыкает.

И опять он произносит:

— Вот наше машинное бюро. Тут надо бы пробковую прокладку сделать — для звукопроницаемости...

Любовь Яковлевна, копившая слезы с утра, уже не владея собой, выбегает:

— Товарищ Хикмет, если бы вы знали, сколько мы слез пролили ради вашего освобождения!

Все растроганы. В эту минуту в машинное бюро входит сотрудник редакции Константин Лапин. Он большой любитель реприз, которые выпаливает с ходу, даже не успевая додумать до конца. Так и на этот раз. Показав гостю на трех старушек машинисток, он почему-то заявляет — бодро, весело, громогласно:

— Товарищ Хикмет, посмотрите, какие у нас машинистки красивые!

Назым на них внимательно посмотрел. Безукоризненная вежливость гостя столкнулась с неподкупной совестью художника. После некоторой внутренней борьбы он сказал:

— Это так всегда бывает, товарищ.

Рассказывая мне об этом, Любовь Яковлевна, смеясь и всхлипывая, все допытывалась:

— Ну как вы думаете — что он этим хотел сказать?